

БИЛИНГВА  
BESTSELLER





БИЛИНГВА

BESTSELLER

**THE HANDMAID'S  
TALE**

*Margaret Atwood*

**РАССКАЗ  
СЛУЖАНКИ**

*Маргарет Этвуд*



Москва  
2019

*For Mary Webster  
and Perry Miller*

And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die. And Jacob's anger was kindled against Rachel; and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her.

*Genesis, 30:1—3*

But as to myself, having been wearied out for many years with offering vain, idle, visionary thoughts, and at length utterly despairing of success, I fortunately fell upon this proposal...

*Jonathan Swift, A Modest Proposal*

In the desert there is no sign that says, Thou shalt not eat stones.

*Sufi proverb*

*Посвящается Мэри Уэбстер  
и Перри Миллеру<sup>1</sup>*

И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю.

Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева?

Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.

*Бытие, 30:1—3*

Что до меня, то, притомившись за многие годы высказывать бессмысленные, тщетные, несбыточные суждения и в конце концов решительно потеряв веру в успех, я, по счастью, осенен был сим предложением...

*Джонатан Свифт. Скромное предложение<sup>2</sup>*

Нет в пустыне знака, что говорит: и не вкуси камней.

*Суфийская притча*

---

<sup>1</sup> Мэри Уэбстер (в девичестве Ривз, ок. 1626—1696) — одна из коннектикутских предков Маргарет Этвуд. В 1683 г. Предстала перед судом по обвинению в колдовстве, была оправдана, однако впоследствии оказалась жертвой самосуда: в 1685 г. местная молодежь попыталась повесить «ведьму», а затем похоронила ее в снегу; то и другое Мэри Уэбстер пережила. Перри Миллер (1905—1963) — американский историк, профессор Гарвардского университета, под чьим руководством Этвуд в начале 1960-х изучала историю Америки вообще и раннее пуританство в частности. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

<sup>2</sup> В сатирическом памфлете английского писателя Джонатана Свифта «Скромное предложение касаясь того, как воспрепятствовать бедняцким детям в Ирландии стать обузой родителям или стране, а равно о том, как извлечь из детей сих пользу для общества» (1729) автор предлагает решать проблему бедности Ирландии путем поедания ирландских младенцев.

# I. Night

## Chapter 1

**W**e slept in what had once been the gymnasium. The floor was of varnished wood, with stripes and circles painted on it, for the games that were formerly played there; the hoops for the basketball nets were still in place, though the nets were gone. A balcony ran around the room, for the spectators, and I thought I could smell, faintly like an afterimage, the pungent scent of sweat, shot through with the sweet taint of chewing gum and perfume from the watching girls, felt-skirted as I knew from pictures, later in mini-skirts, then pants, then in one earring, spiky green-streaked hair. Dances would have been held there; the music lingered, a palimpsest of unheard sound, style upon style, an undercurrent of drums, a forlorn wail, garlands made of tissue-paper flowers, cardboard devils, a revolving ball of mirrors, powdering the dancers with a snow of light.

There was old sex in the room and loneliness, and expectation, of something without a shape or name. I remember that yearning, for something that was always about to happen and was never the same as the hands that were on us there and then, in the small of the back, or out back, in the parking lot, or in the television room with the sound turned down and only the pictures flickering over lifting flesh.

We yearned for the future. How did we learn it, that talent for insatiability? It was in the air; and it was still

# I. Ночь

## Глава 1

Спали мы в бывшем спортзале. Лакированные половицы, на них круги и полосы — для игр, в которые здесь играли когда-то; баскетбольные кольца до сих пор на месте, только сеток нет. По периметру — балкон для зрителей, и, кажется, я улавливала — смутно, послесвечением, — едкую вонь пота со сладким душком жевательной резинки и парфюма девочек-зрительниц в юбках-колоколах — я видела на фотографиях, — позже в мини-юбках, потом в брюках, потом с одной сережкой и зелеными прядками в колючих прическах. Здесь танцевали; музыка сохранилась — палимпсест неслыханных звуков, стиль на стиле, подводное течение ударных, горестный вопль, гирлянды бумажных цветов, картонные чертики, круговерть зеркальных шаров, что засыпали танцоров снегопадом света.

В зале — древний секс, и одиночество, и ожидание того, что бесформенно и безымянно. Я помню тоску о том, что всегда на пороге, те же руки ли на наших телах там и тогда, на спине или за чьей-то спиной — на стоянках, в телегостиной, где выключен звук и лишь кадры мельтешат по вздыбленной плоти.

Мы тосковали о будущем. Как мы ему научились, этому дару ненасытности? Она витала в воздухе; и пре-

in the air, an afterthought, as we tried to sleep, in the army cots that had been set up in rows, with spaces between so we could not talk. We had flannelette sheets, like children's, and army-issue blankets, old ones that still said U. S. We folded our clothes neatly and laid them on the stools at the ends of the beds. The lights were turned down but not out. Aunt Sara and Aunt Elizabeth patrolled; they had electric cattle prods slung on thongs from their leather belts.

No guns though, even they could not be trusted with guns. Guns were for the guards, specially picked from the Angels. The guards weren't allowed inside the building except when called, and we weren't allowed out, except for our walks, twice daily, two by two around the football field which was enclosed now by a chain-link fence topped with barbed wire. The Angels stood outside it with their backs to us. They were objects of fear to us, but of something else as well. If only they would look. If only we could talk to them. Something could be exchanged, we thought, some deal made, some trade-off, we still had our bodies. That was our fantasy.

We learned to whisper almost without sound. In the semidarkness we could stretch out our arms, when the Aunts weren't looking, and touch each other's hands across space. We learned to lip-read, our heads flat on the beds, turned sideways, watching each other's mouths. In this way we exchanged names, from bed to bed:

Alma. Janine. Dolores. Moira. June.



бывала в нем запоздалой мыслью, когда мы пытались уснуть в армейских койках — рядами, на расстоянии, чтоб не получалось разговаривать. Постельное белье из фланелета, как у детей, и армейские одеяла, старые, до сих пор со штампом «С.Ш.А.». Мы аккуратно складывали одежду на стулья в ногах. Свет приглушен, но не потушен. Патрулировали Тетка Сара и Тетка Элизабет; к кожаным поясам у них цеплялись на ремешках электробичи.

Но без оружия — даже им не доверяли оружия. Оружие — для караульных, особо избранных Ангелов. Караульных не пускали внутрь, если их не звали, — а нас не выпускали, только на прогулки, дважды в день, парами вокруг футбольного поля; теперь его обтягивала сетка, увенчанная колючей проволокой. Ангелы стояли снаружи, спинами к нам. Мы боялись их — но не только боялись. Хоть бы они посмотрели. Хоть бы мы смогли поговорить. Могли бы чем-нибудь обменяться, думали мы, о чем-нибудь уговориться, заключить сделку, у нас ведь еще остались наши тела. Так мы фантазировали.

Мы научились шептаться почти беззвучно. Мы протягивали руки в полутьме, когда Тетки отворачивались, мы соприкасались пальцами через пустоту. Мы научились читать по губам: повернув головы на подушках, мы смотрели друг другу в рот. Так мы передавали имена — с койки на койку.

Альма. Джанин. Долорес. Мойра. Джун.

## II. Shopping

### Chapter 2

**A** chair, a table, a lamp. Above, on the white ceiling, a relief ornament in the shape of a wreath, and in the centre of it a blank space, plastered over, like the place in a face where the eye has been taken out. There must have been a chandelier, once. They've removed anything you could tie a rope to.

A window, two white curtains. Under the window, a window seat with a little cushion. When the window is partly open — it only opens partly — the air can come in and make the curtains move. I can sit in the chair, or on the window seat, hands folded, and watch this. Sunlight comes in through the window too, and falls on the floor, which is made of wood, in narrow strips, highly polished. I can smell the polish. There's a rug on the floor, oval, of braided rags. This is the kind of touch they like: folk art, archaic, made by women, in their spare time, from things that have no further use. A return to traditional values. Waste not want not. I am not being wasted. Why do I want?

On the wall above the chair, a picture, framed but with no glass: a print of flowers, blue irises, watercolour. Flowers are still allowed. Does each of us have the same print, the same chair, the same white curtains, I wonder? Government issue?

Think of it as being in the army, said Aunt Lydia.

A bed. Single, mattress medium-hard, covered with a flocked white spread. Nothing takes place in the bed

## II. Покупки

### Глава 2

**С**тул, стол, лампа. Наверху, на белом потолке, — рельефный орнамент, венок, а в центре его заштукатуренная пустота, словно дыра на лице, откуда вынули глаз. Наверное, раньше висела люстра. Убирают все, к чему возможно привязать веревку.

Окно, две белые занавески. Под окном канапе с маленькой подушкой. Когда окно приоткрыто — оно всегда приоткрывается, не больше, — внутрь льется воздух, колышутся занавески. Можно, сложив руки, посидеть на стуле или на канапе и понаблюдать. Через окно льется и солнечный свет, падает на деревянный пол — узкие половицы, надраенные полиролем. Он сильно пахнет. На полу ковер — овальный, из лоскутных косичек. Они любят такие штришки: народные промыслы, архаика, сделано женщинами в свободное время из ошметков, которые больше не к чему приспособить. Возврат к традиционным ценностям. Мотовство до нужды доведет. Я не вымотана. Отчего я в нужде?

На стене над стулом репродукция в раме, но без стекла: цветочный натюрморт, синие ирисы, акварель. Цветы пока не запрещены. Интересно, у каждой из нас такая же картинка, такой же стул, такие же белые занавески? Казенные поставки?

Считай, что ты в армии, сказала Тетка Лидия.

Кровать. Односпальная, средней жесткости матрас, белое стеганое покрывало. На кровати ничего не

but sleep; or no sleep. I try not to think too much. Like other things now, thought must be rationed. There's a lot that doesn't bear thinking about. Thinking can hurt your chances, and I intend to last. I know why there is no glass, in front of the watercolour picture of blue irises, and why the window only opens partly and why the glass in it is shatterproof. It isn't running away they're afraid of. We wouldn't get far. It's those other escapes, the ones you can open in yourself, given a cutting edge.

So. Apart from these details, this could be a college guest room, for the less distinguished visitors; or a room in a rooming house, of former times, for ladies in reduced circumstances. That is what we are now. The circumstances have been reduced; for those of us who still have circumstances. But a chair, sunlight, flowers: these are not to be dismissed. I am alive, I live, I breathe, I put my hand out, unfolded, into the sunlight. Where I am is not a prison but a privilege, as Aunt Lydia said, who was in love with either/or.

The bell that measures time is ringing. Time here is measured by bells, as once in nunneries. As in a nunnery too, there are few mirrors.

I get up out of the chair, advance my feet into the sunlight, in their red shoes, flat-heeled to save the spine and not for dancing. The red gloves are lying on the bed. I pick them up, pull them onto my hands, finger by finger. Everything except the wings around my face is red: the colour of blood, which defines us. The skirt is ankle-length, full, gathered to a flat yoke that extends over the breasts, the sleeves are full. The white wings too are prescribed issue; they are to keep us from seeing, but also from being seen. I never looked good in red, it's not my colour. I pick up the shopping basket, put it over my arm.

происходит, только сон; или бессонница. Я стараюсь поменьше думать. Мысли теперь надо нормировать, как и многое другое. Немало такого, о чем думать невыносимо. Раздумья могут подорвать шансы, а я намерена продержаться. Я знаю, почему нет стекла перед акварельными синими ирисами, почему окно приоткрывается лишь чуть-чуть, почему стекло противоударное. Они не побегов боятся. Далеко не уйдем. Иных спасений — тех, что открываешь в себе, если найдешь острый край.

Так вот. За вычетом этих деталей тут бы мог быть пансион при колледже — для не самых высоких гостей; или комната в мебелирашках прежних времен для дам в стесненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение — тем, у кого оно вообще есть. И однако солнце, стул, цветы; от этого не отмахнешься. Я жива, я живу, я дышу, вытягиваю раскрытую ладонь на свет. Сие не кара, но чествование, как говорила Тетка Лидия, которая обожала «или/или».

Звонит колокол, размечающий время. Время здесь размечается колоколами, как некогда в женских монастырях. И, как в монастырях, здесь мало зеркал.

Я встаю со стула, выдвигаю на солнце ноги в красных туфлях без каблука — побережь позвоночник, не для танцев. Красные перчатки валяются на кровати. Беру их, натягиваю палец за пальцем. Все, кроме крылышек вокруг лица, красное: цвет крови, что нас определяет. Свободная юбка по щиколотку собирается под плоской кокеткой, которая обхватывает грудь; пышные рукава. Белые крылышки тоже обязательны: дабы мы не видели, дабы не видели нас. В красном я всегда неважно смотрелась, мне он не идет. Беру корзину для покупок, надеваю на руку.

The door of the room — not my room, I refuse to say my — is not locked. In fact it doesn't shut properly. I go out into the polished hallway, which has a runner down the centre, dusty pink. Like a path through the forest, like a carpet for royalty, it shows me the way. The carpet bends and goes down the front staircase and I go with it, one hand on the banister, once a tree, turned in another century, rubbed to a warm gloss. Late Victorian, the house is, a family house, built for a large rich family. There's a grandfather clock in the hallway, which does out time, and then the door to the motherly front sitting room, with its fleshtones and hints. A sitting room in which I never sit, but stand or kneel only. At the end of the hallway, above the front door, is a fanlight of coloured glass: flowers, red and blue.

There remains a mirror, on the hall wall. If I turn my head so that the white wings framing my face direct my vision towards it, I can see it as I go down the stairs, round, convex, a pier-glass, like the eye of a fish, and myself in it like a distorted shadow, a parody of something, some fairytale figure in a red cloak, descending towards a moment of carelessness that is the same as danger. A Sister, dipped in blood.

At the bottom of the stairs there's a hat-and-umbrella stand, the bentwood kind, long rounded rungs of wood curving gently up into hooks shaped like the opening fronds of a fern. There are several umbrellas in it: black, for the Commander, blue, for the Commander's Wife, and the one assigned to me, which is red. I leave the red umbrella where it is, because I know from the window that the day is sunny. I wonder whether or not the Commander's Wife is in the sitting room. She doesn't always sit. Sometimes I can hear her pacing back and forth, a heavy step and then a light one, and the soft tap of her cane on the dusty-rose carpet.

Дверь в комнате — не в моей комнате, я отказываюсь говорить «моей» — не заперта. Она даже толком не затворяется. Выхожу в натертый коридор, по центру — грязно-розовая ковровая дорожка.словно тропинка в лесу, словно ковер пред королевой, она указывает мне путь. Дорожка сворачивает, спускается по парадной лестнице, и я двигаюсь вместе с ней, одна рука на перилах — когда-то был древесный ствол, обточенный в ином столетии, выглаженный до теплого блеска. Дом — поздневикторианский, семейный особняк, выстроен для большой богатой семьи. В коридоре напольные дедушкины часы выдают по крохам время, а за ними дверь в мамочкины парадные покои, сплошь телесность и намеки. Покои, где нет мне покоя: стою столбом или преклоняю колена. В конце коридора над парадной дверью — полукруглый витраж: синие и красные цветы.

Там осталось зеркало, в вестибюле на стене. Если повернуть голову так, чтобы крылышки, обрамляющие лицо, направили взгляд туда, я увижу его, спускаясь по лестнице, круглое, выпуклое рыбьеголовое трюмо, и себя в нем — исковерканной тенью, карикатурой, пародией на сказочного персонажа в кровавом плаще, снисхожу к мгновению беспечности, что равносильна опасности. Сестру окунули в кровь.

У подножия лестницы — стойка для зонтов и шляп, гнутая, длинные скругленные деревянные ярусы мягко изгибаются крюками, точно папоротник распустился. В стойке зонтики: черный — Командора, голубой — Жены Командора, и еще один, предназначенный мне, красный. Я оставляю красный зонтик, где он есть, — сегодня солнечно, я видела в окно. А Жена Командора, интересно, в покоях? Она не всегда сидит спокойно. Порой я слышу, как она расхаживает туда-сюда, тяжелый шаг, потом легкий, и тихий стук ее трости по пыльно-розовому ковру.